

Цена 20 коп.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Литературная газета

ОРГАН ОРГКОМИТЕТА СОЮЗА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР И РСФСР

ПОД РЕДАКЦИЕЙ **В. БАГРИЦКОГО** | **А. ВОЛОТНИКОВА**
М. КОЛЬЦОВА, В. ЛИДИНА, А. СЕЛИВАНОВСКОГО, И. СЕЛЬВИНСКОГО
М. СУБОЦКОГО, М. СЕРЕБРЯНСКОГО, М. ЧАРНОГО, Е. УСИЕВИЧ.

№ 88 (404)

14 ИЮЛЯ 1934 ГОДА

ВЫХОДИТ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

Просто о нем...

Мих. Левидов

Можно писать о нем без конца, ибо легко и радостно о Чехове думать. Об усталых его глазах, умной улыбке, провинциальном немножко пенсне на шнурочке, о бесконечно милом его лице. Или, например, о рассказе его «Моя жизнь». Ну, рассказ как рассказ — чеховский рассказ, тоскливый, недоуменный, о людях неплохих, но ущемленных, ущемленных, ущемленных, убогих. Страшный рассказ. Есть там персонаж, который любил есть мух и находил их кисленькими. Есть там архитектор, несчастный, злой и бездарный старик, он выстроил все главные здания в городе, и сделал бездарным самый город, и сделал несчастными своих детей. Я не знал, конечно, Чехова лично, все, что я знаю о нем, идет из вторых рук, но я совершенно, абсолютно уверен, что ему было больно писать этот рассказ, как и многие другие свои рассказы, но он не мог его не писать. Ибо был Чехов неповторимо честен в отношении своей литературной работы. Конечно, честен каждый большой писатель. Были честны и Толстой, и Достоевский, но какое-то особое качество честности было у Чехова: я вижу и знаю таким вот окружающий меня мир, и ничего мне другого не остается, как рассказать о нем. У Толстого и Достоевского — тут они одинаковы и равнозначны — было активное, напряженное, явственно прорывающееся желание видеть мир именно так, а не иначе, и навязать это свое видение читателю, это были, так сказать, «писатели-империалисты», как и Диккенс, Бальзак... Не то у Чехова. Максимально деликатный писатель. — Я б хотел видеть мир совсем другим, но что ж поделаешь, когда я вижу его именно таким...

2

Но разве они существовали, эти люди, которые ели мух и находили их кисленькими? Или этот провинциальный врач, которому дважды в день кричала из кухни кухарка: «Андрей Петрович, вам пора пиво пить» («Палата № 6»)? Или главный приказчик в торговом складе бр. Лаптевых, который, когда хотел заказать в трактире порцию языка, говорил: «Человек, порцию мастера клеветы и злословия!» («Три года»)?

И тут задаешь себе вопрос о месте Чехова среди современных ему бытовиков, натуралистов, мелких реалистов, всех этих Тимковских, Чириковых, Тихоновых, Елпатьевских, Потопенков и прочих жильцов «Мира божьего», возделывателей «Нивы». Как будто Чехов их же полка, ну, больше, талантливее, значительней, ну, полковник в полку...

Однако, нет. Не в росте, не в чине разница между Чеховым и Тимковским. Чехов — в самых корнях своего творчества — ярый и убежденный выдумщик. И Dichtung у него, пожалуй, больше чем Wahrheit.

«Цель моя — убить сразу двух зайцев: правдиво нарисовать жизнь и кстати показать, насколько эта жизнь уклоняется от нормы» (из письма к Плещееву). Цель, о которой говорит Чехов, — это написать роман, но без натяжки можно сказать, что эта цель характеризует всю его литературную работу. Так вот, если сообразить, что «норма» здесь воспроизводится от слова «нормативно», а не «нормально», видно будет, что, показывая, насколько жизнь уклоняется от нормативного, того, что должно было бы быть, Чехов отнюдь не интересовался вопросом о правдоподобии, о «верности натуре», с натуры не списывал и ее не описывал. А доказательство тому прямо кричит в следующих строках:

«...Я никогда не писал непосредственно с натуры. Мне нужно, чтобы память моя пропечет сюжет и чтобы на ней, как на фильтре, осталось только то, что важно или типично».

Важно, что любой провинциальный город в чеховской России был городом бездарным. Это не только в памяти, во всем сознании Чехова сидело крепко. А деталь насчет архитектора, построившего город по своему подобию, могучая, страшная деталь, — она была найдена в процессе гениальной выдумки. Важно и типично, что гибнет в этом городе незаурядный человек. Но вот Тимковские, повествуя об этом человеке, не преминули бы заметить, ужасаясь, что спивается человек. А Чехов заставляет его есть мух, отнюдь не ужасаясь, что находит мух мухоед кисленькими. Насколько же процесс гибели человека у Чехова — страшной, убедительней! И характерно, что ни один почти из чеховских гибнувших людей не пьет, не спивается с круга, пьяницы не припомнить среди чеховских персонажей: были бы пьяницы — не было бы выдумки, это слишком очевидно. А потому не о пьяницах мы читаем, а о тех, кто ест мух, скупает дома (Ионыч), изнемогает от горшочков со сметаной (учитель словесности).

3

Но почему же этот тихий и деликатный писатель так безжалостно, так по-свифтовски, по-гоголевски вы-

думывал? Ипохондрик, мизантроп, человеконенавистник?

Чепуха, конечно. Не было в дореволюционной России писателя с большим душевным здоровьем, с большим даром любви, чем Чехов, и этим он в корне отличен от Гоголя. Больше чем кто-либо Чехов — писатель пушкинского толка и склада. И был он писатель громадного, яростного, но очень скрытого, «деликатного» гнева, этаким деликатным, ласковым Салтыковым. Ибо кто кроме Чехова в русской литературе мог сказать, да и сказал, эти чудесные, и страшно простые, предельно ясные слова: «Мое святая святых — это человеческое дело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода...». Не Достоевский, конечно, человек запуганный и пугающий, гениальный режиссер своего страшно сильного, но очень узкого и ограниченного таланта, не понимавший органически, что такое человеческое здоровье, не Толстой, конечно, — для него, ум, здоровье, талант, любовь, свобода были лишь фигуры на шахматной доске в той партии, которую он один, Лев Толстой, на свой страх и риск вел с человечеством, и фигуры эти можно и обменять, и пожертвовать, и вообще смахнуть с доски; и если говорить о современниках Чехова, не Бунин, конечно, мелкий эгоист, себялюб, голый мастер, ценивший и понимавший лишь свой талант, свой ум и здоровье... Эти слова — только чеховские слова. Но эти — не слова, а качества, — они ведь истреблялись всем строем русской жизни (Чехов не мог понять, что подобное истребление — закон не только русского, но всякого капиталистического общества). Этого не мог не видеть Чехов, очень деликатно и тихо страдавший человек, и он сопротивлялся, он боролся с палачами, уничтожавшими все, что было ему дорого. — Вот человек, плоть от плоти, кровь от крови вашей; он ест мух и находит их кисленькими: вы не едите мух, но, уничтожив дело, ум, талант, любовь, свободу, вы также станете есть мух, — что ж другое останется вам на изгаженной земле!

В таком вот плане рассуждая, видишь, что чеховская выдумка — не стилистический прием «юмориста», а оружие писателя, крик его боли, его гнева...

4

Но был Чехов оптимистом, как всякий здоровый и полноценный человек. Беда лишь в том, что путей оптимизма он не видел, не мог видеть в силу ограниченности социальной своей

природы. И был потому романтиком оптимизма, романтиком «неба в алмазах». Этот великолепный материалист, — материализм его был ясен, как день, и точен, как таблица умножения, — отнюдь не стыдился своего романтизма, своего априорного знания, что «через двести-триста лет» люди увидят «небо в алмазах».

Но — «мухоед» и «небо в алмазах»! Шуйца и десница, зияющее противоречие, разорванное на две половинки творческое сознание, не сводил Чехов концы с концами, и был какой-то конец — не серьезен, не настоящ?

Нужно ли доказывать, что такое рассуждение насковозь механистично и мертво! Были в русской литературе фигуры, у которых на самом деле концы не были сведены и оптимизм висел на одном конце мертвым грузом, — тот же Гоголь, к примеру. Но вель и насчет другого конца дело было неблагоприятно: не чувствуется у Гоголя настоящей боли и гнева, он-то больше забавляется своими «мухоедами». Или в западной литературе Мопассан, столь близкий к Чехову стилистическими приемами: он никакого «неба в алмазах» не знал, знать не хотел и если б о нем заикнулся, это было бы несведением концов с концами. Но дело в том, что Мопассан был антибуржуа, стоя на позициях прошлого, как и Флобер, как и Стендаль, а Чехов был антимещанином, антиобывателем, антимухоедом, стоя на позициях своей «святой святых», т. е. на позициях будущего, в которому он так трепетно тянулся. Человек подлинного социального гнева и человеческой боли, обладал он правом на оптимизм.

5

И думая о Чехове, о человеке-красавце, каждый вершок в котором был человеческим, в лучшем смысле этого слова, как не подумать: а если бы дожил!

Что ж, семьдесят четыре года всего было бы. Мог бы дожить. Сохранив свой талант, ясность мысли, радость жизни.

И вот представим. Чехов — и реализуемое прекрасное человеческое дело: строительство нового мира. Чехов — и торжество разумной человеческой воли над стихией собственнической психики, над стихией слепой природы. Чехов — и на слом идущие бездарные, скучные, тусклые города. Чехов — и освобожденная женщина. Чехов — и челюскинская эпопея. И он сказал бы, покашливая, своим глухим, конфузящимся баском:

— Послушайте, это же ж чудесно! Мог бы дожить...

Не хочется быть сентиментальным, но клубок поднимается к горлу.